

Такая насыщенность лирическими отступлениями качественно отличает «Гавриилиаду» от поэм Парни и определяет неповторимое своеобразие пушкинского стиля. Лирические отступления «Гавриилиады» (о первой любви, лицейских драках, болтливых любовниках, проказливых невестах, «важном браке с любезною женой») продолжают манеру, намеченную в поэме «Руслан и Людмила», так же как и стремление к шутливому повествованию, насмешливое отношение к героям, читателю и самому себе, легкий эротизм. Лирические отступления «Гавриилиады», написанные в форме легкой свободной беседы, полной задушевности и шутки, подготовили появление отступлений «Евгения Онегина», предвосхитили манеру «свободного романа».

В. В И Н О Г Р А Д О В

ОБ ОДНОЙ МНИМО-ПУШКИНСКОЙ ЭПИГРАММЕ НА МОСКВУ

Известный специалист по изучению творчества Пушкина, Н. Полевого и Н. Надеждина покойный ленинградский филолог Н. К. Козьмин в краеведческом издании, в «Трудах общества исследователей Рязанского края» (вып. VII, Рязань, 1927), среди «Материалов к характеристике рязанских уроженцев» поместил очень интересное собрание писем Н. И. Надеждина и к Н. И. Надеждину: «Н. И. Надеждин, его друзья и знакомые (из переписки сороковых—пятидесятых годов прошлого столетия)». Согласно характеристике издателя, это — письма двух родов или категорий: во-первых, письма самого Н. И. Надеждина к семейству Аксаковых—Карташевских, отличающиеся шутливым дружеским характером и рисующие нам человека, близкого семейству автора знаменитой «Семейной хроники», и, во-вторых, письма к Н. И. Надеждину разных лиц в петербургский период его жизни, вносящие «новые штрихи в характеристику разностороннего ученого».

В дружеских письмах содержится излияния чувств, шуточные предложения, сообщения о «запечатленных новостях», юмористические прозведения (Journal pour rire). Вот — пример:

Позвольте обратить мое к Вам слово, Марья Григорьевна! — Хоть бывал превздорный встарь я
И мастер посерчать, но то прошло уж! Не в
Характере моем теперь питать к Вам гнев! —
Вы подозреньям своими так не редко
Мне злополучному чинили тяжкий вред. Ко
Усугублению моих сердечных ран,
Не слушали меня. Я оправдаться? Ан
У Вас уж новые как раз готовы стрелы! —
Я вовсе духом пал, стал так труслив, не смел, п,
Как видите, почти не разеваю рта,
Сижу, как Варенька. До копк же пор та
Мне мука суждена? Я к хитростям не лаком
И лицемерия не покрываюсь лаком. . .

Однако в числе этих дружеских писем помещено одно загадочное стихотворное произведение, озаглавленное «Граду (Urbi)», подписанное буквами X. и Z., датированное так: «Град Святого Петра 17 октября 1843» (стр. 23—24). Н. К. Козьмин не сопроводил это стихотворение никакими комментариями. Между тем ясно, что оно не принадлежит Н. И. Надеждину. В этом стихотворении содержится грустно-ироническая характеристика дряхлеющей и умственно умирающей Москвы. Оно оснащено мнимо-пушкинским эпиграфом. Вот — полностью текст этого прозведения.

ГРАДУ (URBI)

Расхвасталась Москва-столица,
Церквей где сорок сороков,
И эти сорок — единица
В числе наличных дураков!

А. П у ш к и н.

Бездействием своим так гордо похваляясь,
Ты возбуждаешь грусть в стране своей родной,
И люди добрые не могут, изумляясь,
Понять, что сделалось на старости с тобой.
Там где один туман высокопарный бродит,
Где только фраз поток, сменяющийся в миг:

Там к сожалению тот жизни не находит,
 Кто жизни таинство изведаль и постиг!
 Хвастливостью своей не скрыть тебе гниения
 Чахоткой медленной изнеможенных сил!
 Из свежего ростка лишь восстает растение:
 Тебе же свой век отжить давно уж род судил.
 Конечно, в тишине творится все живое:
 Но разве тишина — исподтишка ворчать? .
 Где жизни таинство скрывается прямое,
 Там и без слов его не трудно угадать!
 Но у тебя, увы, великое молчанье —
 Лишь только о делах, о пользе, о труде!
 На пустыаки ж твое широкое вещанье
 Не скупю никогда, не бережно нигде!
 Скажи, какой еще тебе ждаль высшей цели?
 Не решена ль уже давно твоя судьба?
 Святаа старица! уж дни твои созрели,
 И вокруг тебя кипит не для тебя борьба!
 Твой час пробил! Среди всеобщего движенья
 В воспоминаниях должна ты жить одних!
 Все жизни молодой роскошные явленья
 Уж чужды для тебя: тебе нет доли в них.
 Но ты бессилем своим пренебрегая,
 Звенишь еще молвой пустых, бесплодных слов,
 И зависть тайную в груди своей питаая,
 Заводишь ссоры там, где жить должна любовь.
 Так, размачтованный корабль, царь океана,
 Толпы покорных вод выдавший под собой,
 Скрипит, качаяся, как остов великана,
 В тиши, где тлеть ему назначено судьбой.
 Вокруг его, скользя снуют младые челны
 Подъемля за собой сребристые струи;
 Он недвижим стоит, и сердится на волны,
 Что не берут его в объятия свои.
 Но если б небосклон опять необозримый
 Раскинулся над ним, но если б хоть на миг
 Вновь океан его объял неодолимый
 И парус над челом его опять возник:
 Он двинулся б, побрел — и взвыли б непогоды,
 И далеко б исчез оставленный им брег —
 Что сталося бы тогда? . Взволнованные воды
 Сокрыли б под собой его бесславный бег! . .
X. Z.

Град Святого Петра
 17 октября 1843.

Уже у Гоголя в «Петербургских записках 1836 года» есть сравнительная характеристика Петербурга и Москвы.

«А какаа разниаа, какаа разниаа между ими двумя! Она еще до сих пор русская борода, а он уже аккуратный немец. Как раскинулась, как расширилась старая Москва! Какаа она нечесанная!»

«В Москве литераторы проживаютя, в Петербурге наживаютя». «Петербург любит подтрунить над Москвой, над ее аляповатостью, неловкостью и безвкусицем; Москва кольнет Петербург тем, что он человек продажный и не умеет говорить по-русски».¹

Сопоставление Москвы и Петербурга со второй половины 30-х годов и особенно в начале 40-х годов — это теоретическая база для постановки вопроса об исторических путях развития России, об ее идеологическом, умственном центре, о средоточии русской национальной культуры.

Следующим этапом в разработке этой проблемы был сатирический фельетон Герцена «Москва и Петербург», впервые опубликованный в «Колоколе» (л. 2 от 1 августа 1857 года без подписи). Но написан был этот фельетон в 1841—1842 году и распространялся в многочисленных списках. Он, по словам самого Герцена, «обошел всю Россию». По-видимому, Белинский в своей статье «Петербург и Москва» (1845) полемизировал с Герценом в той части его положений, которые клонились если не к отрицанию, то к умалению исторической роли Москвы в прошлом и будущем, к скептической оценке прогрессивных тенденций в ее развитии.

¹ Н. В. Гоголь, Полное собрание сочинений, т. VIII, Изд. АН СССР, 1952, стр. 177—179.

В своем фельетоне «Москва и Петербург» Герцен утверждает, что «говорить о настоящем России — значит говорить о Петербурге. . . Москва, напротив, имеет притязания на прошедший быт, на мнимую связь с ним; она хранит воспоминания какой-то прошедшей славы, всегда глядит назад, увлеченная петербургским движением, идет задом наперед и не видит европейских начал оттого, что касается их затылком». «Москва ничего не значила для человечества, а для России имела значение омута, втянувшего в себя все лучшие силы ее и ничего не умевшего сделать из них. Москву забыли после Петра и окружили тем уважением, теми знаками благосклонности, которыми окружают старуху-бабушку, отнимая у нее всякое участие в управлении имением».

«В Москве мертвая тишина; люди систематически ничего не делают, а только живут и отдыхают перед трудом; в Москве после 10 часов не найдешь извозчика, не встретишь человека на иной улице; разединенный быт славяно-восточный напоминает на каждом шагу».

«В Москве есть люди глубоких убеждений, но они сидят сложа руки; в Москве есть круги литературные, бескорыстно проводящие время в том, чтобы всякий день доказывать друг другу какую-нибудь полезную мысль, например, что Запад гниет, а Русь цветет. В Москве издается один журнал да и тот „Москвитянин“».

«Удаленная от политического движения, питаемая старыми новостями, не имея ключа к действительным правительствам, ни инстинкта отгадывать их, Москва резонерствует, многим недовольна, обо многом отзывается вольно. . . Вдруг является Иван Александрович Хлестаков большого размера — Москва кланяется в пояс, рада посещению, дает балы и обеды и пересказывает бон-мо. Петербург, в центре которого все делается, ничему не радуется, никому не радуется, ничему не удивляется. . . Иван Александрович в Петербурге ничего не значит, там никого не надуешь, ни силой, ни властью, там знают, где сила и в ком. В Москве до сих пор принимают всякого иностранца за великого человека, в Петербурге — каждого великого человека за иностранца».

«В судьбе Москвы есть что-то мецанское, пошлое: климат не дурен, да и не хорош; дома не низки, да и не высоки».²

Статья В. Г. Белинского «Петербург и Москва» является в известной мере оправданием истории Москвы. Гений Петра определил границу между старой и новой Россией. Но «кто может предугадать явление гения, и может ли толпа предвидеть пути гения, хотя этот гений и есть не что иное, как мысль, разум, дух и воля самой этой толпы с тою только разницею, что все, что таится в ней, как смутное предчувствие, в нем является отчетливым сознанием?»

«Таким образом, Россия явилась вдруг с двумя столицами — старою и новою, Москвою и Петербургом. . . В то время, как рос и украшался Петербург, по-своему изменялась и Москва. Вследствие неизбежного вторжения в нее европеизма, с одной стороны, и в целости сохранившегося элемента старинной неподвижности, с другой стороны, она вышла каким-то причудливым городом, в котором пестреют и мечутся в глаза перемешанные черты европеизма и азиатизма. Раскинулась и растянулась она на огромное пространство: кажется, куда огромный город! А походите по ней, и вы увидите, что ее обширности много способствуют длинные, предлинные заборы. Огромных зданий в ней нет. . .» Это «город патрархальной семейственности». . .

«Вообще Москва, славная своим хлебосольством и гостеприимством, чуждается жизни городской, общественной и любит обедать у себя дома, *семейно*».

«Сравните петербургскую жизнь с московскою — и в их различии или, лучше сказать, их противоположности вы сейчас увидите значение того и другого города. Несмотря на узкость московских улиц, снабженных тротуарами в пол-аршина шириною, они только днем бывают тесны, и то далеко не все, и притом больше по причине их узкости, чем по многолюдству. С десяти часов вечера Москва уже пустеет, и особенно зимою скучны и пустыньны эти кривые улицы с еще более кривыми переулками. Широкие улицы Петербурга почти всегда оживлены народом, который куда-то спешит, куда-то торопится. На них до двенадцати часов ночи довольнолюдно, и до утра везде попадаются те там, то сям запоздалые. Кондитерские полны народом. . .»

«. . . В Петербурге счету нет различным кругам „большого света“. . . Хороший тон, это — точка помешательства для петербургского жителя. Последний чиновник, получающий не более семисот рублей жалованья, ради хорошего тона отпускает при случае искаженную французскую фразу — единственную, какую удалось ему затвердить из „Самоучителя“; из хорошего тона он одевается всегда у порядочного портного и носит на руках хотя и засаленные, но желтые перчатки. Девушки даже низших классов ужасно любят ввернуть в безграмотной русской записке безграмотную французскую фразу, — и если вам понадобится писать к такой девице, то ничем вы ей так не польстите, как смешением нижегородского с французским; этим вы ей покажете, что считаете ее девицею образованною и „хорошего тона“. . . Видите ли: Петербург во всем себе верен: он стремится к высшей форме общественного быта. . . Не такова в этом отношении Москва. В ней даже большой свет имеет свой особенный

² А. И. Герцен, Собрание сочинений в тридцати томах, т. II. Изд. АН СССР, М., 1954, стр. 33—39.

характер. Но кто не принадлежит к нему, тот о нем и не заботится, будучи весь погружен в сферу собственного сословия. Ядро коренного московского народонаселения составляет купечество». Бородатое «поштенное купечество» постепенно поглощает дворянство и его палаты.

«Базисом этому многочисленному сословию в Москве служит еще многочисленнейшее сословие: это — мещанство, которое создало себе какой-то особенный костюм из национального русского и из басурманского немецкого. . .»

«Но в Москве есть еще другого рода среднее сословие — образованное среднее сословие. . . Различий и степеней между „образованными“ людьми у нас множество».

«Где, кроме Москвы, вы можете и служить, и торговать, и сочинять романы, и издавать журналы не для чего иного, как только для собственного развлечения, для отдыха? Где лучше можете вы отдохнуть и поправить свое здоровье, как не в Москве? Где, если не в Москве, можете вы много говорить о своих трудах, настоящих и будущих, прослыть за деятельнейшего человека в мире — и в то же время ровно ничего не делать? Где, кроме Москвы, можете вы быть довольнее тем, что вы ничего не делаете, а время проводите преприятно? Оттого-то в Москве так много заезжего, праздного народа, который собирается туда из провинции жуировать, кутить, веселиться, жениться».

Играет большую культурно-воспитательную роль Московский университет.

«Страх рассуждать и спорить есть живая сторона москвичей, но дела из этих рассуждений и споров у них не выходит. Нигде нет столько мыслителей, поэтов, талантов, даже гениев, особенно „высших натур“, как в Москве; но все они делаются более или менее известными вне Москвы только тогда, как переедут в Петербург. . . Нигде столько не говорят о литературе, как в Москве, и, между тем, именно в Москве-то и нет никакой литературной деятельности, по крайней мере, теперь. Если там появится журнал, то не пишите в нем ничего, кроме напыщенных толков о мистическом значении Москвы, опирающихся на царь-пушку и большое колоколе. . .» Однако со временем Петербург и Москва могут образоваться своим слиянием «прекрасное и гармоническое целое». «Время это близко: железная дорога действительно делается. . .»

«В Москве даже солидные люди молчат только тогда, когда спят, а юноши, особенно „подающие о себе большие надежды“, говорят даже и во сне, а потом даже иногда печатают, если им случится сказать во сне что-нибудь хорошее, — чем и должно объяснять иные литературные явления в Москве».

Возражая Герцену, Белинский пишет: «Может быть, назначение Москвы состоит в удержании национального начала. . . и в противоборстве иноземному влиянию. . .»

«Все живое есть результат борьбы: все, что является и утверждается без борьбы, все то мертво. Несмотря на видимую падность Москвы до новых мнений или, пожалуй, и до новых идей, — она, моя матушка, до сих пор живет все по-старому и не тужит. С этими идеями она обращается как-то по-немецки: идеи у ней сами по себе, а жизнь сама по себе».

«. . . В Москве больше, чем в Петербурге, молодых людей, способных к делу; но делают что-нибудь они. . . только в Петербурге, а в Москве только говорят о том, что бы и как бы они делали, если бы стали что-нибудь делать».³

Таким образом, тема, затронутая в посланном в 1843 году Н. И. Надеждиным к Аксаковым—Карташевским из Петербурга стихотворении «Urbi», имеет длинную историю. С ней связаны имена Гоголя, Герцена, Белинского.

Едва ли автором стихотворения «Urbi» был сам Надеждин. Такому утверждению противоречит и анонимность его, поставленная под ним подпись X. Z., и стилизованное указание на «Град Святого Петра» (ср. обычное у Надеждина — СПб.), и стиль, и тематика стихотворения, и его идеологическая направленность. Особенно интересно и загадочно стремление вовлечь в полемику о Москве и Петербурге Пушкина (см. его «Медный всадник», а также образы Москвы и Петербурга в более ранних стихотворениях, в «Евгении Онегине», в «Домике в Коломне» и др.) — с совсем неожиданной стороны и в неожиданном эпиграфе: «Расхвасталась Москва-столица. . .»

О том идейном разногласии между Петербургом и Москвой, которое особенно остро выступило в начале 40-х годов, когда, по словам П. В. Анненкова, «повторилось в обновленной форме и на других горизонтах более сложных и продуманных основаниях старое явление отпора Москвы цивилизаторской заносчивости Петербурга», в знаменитой статье Анненкова «Замечательное десятилетие (1838—1848)» читаем: «Москва делала консервативную оппозицию, на основании старых начал русской культуры, — Петербургу, провозглашавшему несостоятельность почти всех русских старых начал перед общечеловеческими началами, то есть перед европейским развитием».⁴ Конечно, деление общественных группировок на московскую и петербургскую или на славянофильскую и западническую было очень условно (ведь Чаадаев, Грановский, Герцен

³ В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. VIII, Изд. АН СССР, М., 1955, стр. 385—413.

⁴ П. В. Анненков. Литературные воспоминания. Гослитиздат, 1960, стр. 215.

и другие жили тогда в Москве). Но обе литературные партии в то время (1843) «стояли как два лагеря друг против друга, каждый со своими шпагами».⁵ П. В. Анненков в своем либерализме ищет точек соприкосновения и линий примирения между этими партиями.

«Впрочем, в то время между партиями таплась, однако же, одна связь, одна примиряющая мысль, более чем достаточная для того, чтоб открыть им глаза на общность цели, к которой они стремились с разных сторон. . . Связь заключалась в одинаковом сочувствии к поработанному классу русских людей и в одинаковом стремлении к упразднению строя жизни, допускающего это порабощение или даже на нем именно и основанного. Покамест никто еще не хотел видеть средства в основном мотиве, двигавшем обе партии, и когда по временам мотив этот обнаруживался сам собой, партии наши торопились поскорее замаять его. Для вящего укрепления розни не доверяли ни чувствам, ни характеру, ни намерениям друг друга. В Москве говорили по поводу петербургских гуманных протестов: „Петербург сделал из либерализма и своего отчаяния покойное вольтеровское кресло, в котором и нежится“. Из Петербурга отвечали на это: „На московских исторических духовниках еще слаще должно спать, — особенно под гул сорока сороков“. Ко всему этому присоединялись еще и стихотворные перебранки. В Москве писались пасквили и эпиграммы на Беллинского, и притом людьми в житейском отношении несомненно чистого нравственного характера, а из Петербурга им отвечали ругательной песенкой, содержащей, между прочим, такую строфу:

Да, Россия — властью вашей —
Та же, что и до Петра: . . .
Набивает брюхо кашей
И рыгает до утра.

Какое же тут могло быть соглашение?»⁶

А. Г. Дементьев в своих «Очерках по истории русской журналистики 1840—1850 гг.» (Гослитиздат, М.—Л., 1951) пишет: «Летом 1844 года Шевырев, Давыдов, Бодянский гостили в пмении министра просвещения Уварова — Поречье. Осенью, по приезде в Петербург, Уваров усилил гонение на „Отечественные записки“. До Герцена дошли слухи даже об их закрытии. Он считал виновниками этого Шевырева и Погодина. Весьма осведомленный А. В. Цикитенко 1 октября 1844 года записал в свой дневник: „Поутру был у нашего министра. . . Он ужасно вооружен против „Отечественных записок“, говорит, что у них дурное направление — социализм, коммунизм и т. д. Очевидно, это павают москвичами-патриотами, которым во что бы то ни стало хочется быть вождями времени. Министр желает не падить „Отечественных записок“» (т. е. Белинского) (стр. 156).

Представление о хвастливости Москвы и москвичей в 30—40-е годы было широко распространено. Об этом писал тот же П. В. Анненков в своих воспоминаниях об А. Ф. Писемском («Художник и простой человек»): «Несмотря на духовное родство с народом, Писемский не был. . . славянофилом. Он вывез только и сберег в Петербурге гордость своим происхождением, в нравственном смысле, от Москвы и затем чрезмерное хвастовство ею, что было ему обще со всеми москвичами. Москву же он любил совсем не за ее святыни, не за исторические воспоминания, с нею связанные, и громкое, всесветное имя, ею носимое, о чем никогда и не упоминал, а скорее за то, что там не принимали органические проявления страсти и жизненной энергии за распутовство, не обзывали преступлением всякое уклонение от полицейского порядка, и что в городе, где по временам скоплялась целая многотысячная армия из одних мужиков и разночинцев со всех концов империи, труднее было блюсти за чистотой нравов по уставам благочиния. Петербург казался Писемскому созданным на то, чтобы показать, сколько может быть безжизненности в порядке и возмутительных явлений под покровом чинности и стройности».⁷

Если Надеждин не является автором стихотворения «Urbi» то, естественно, и мысль снабдить его пушкинским или мнимо-пушкинским эпиграфом — не от него исходила.

Отношения между Пушкиным и Надеждиным более или менее известны, хотя их история и не может считаться до конца изученной. В пушкинских эпиграммах (с 1829 года) Надеждин заклеймен характеристическими обозначениями «журнального шута», «холопа лукавого», «лакея», «сапожника», «болвана семинариста», промышлявшего «прозою лакейской». К Надеждину относятся и такие презрительные стихи:

За сям принес сеппарист
Тетрадь лакейских диссертаций,
И Фебу вслух прочел Гораций,
Кусая губы, первый лист.

Отяжелев, как от дурмана,
Сердито Феб его прервал
И тотчас взрослого болвана
Поставить в палки приказал.

⁵ Там же, стр. 233.

⁶ Там же, стр. 241—242.

⁷ Там же, стр. 497—498.

Стиль эпиграфа далек от пушкинского. Шаблонный образ Москвы — «сорок сороков церквей» — не встречается в языке Пушкина. Едва ли Пушкин с его точным или даже остро каламбурным сопоставлением грамматических категорий мог бы отнести сорок сороков церквей, отождествив их с единицей, к числу наличных дураков. Слово «наличный» употребляется Пушкиным всегда (4 раза) в смысле, близком к счетно-правовому или счетно-официальному.

Например:

Стишки любимца муз и граций
Мы вмиг рублями заменим
И в пук наличных ассигнаций
Листочки ваши обратим. . .

«Наличных денег у ней 300 р.» (в письмах).
Ср. в сатире — Великопольскому:

Играешь ты на лире очень мило,
Играешь ты довольно плохо в штос.
Пять сот рублей, проигранных тобою,
Наличные свидетели тому. . .⁸

Есть очень убедительные факты, позволяющие эпиграф «Расхвасталась Москва-столица» связать с именем приятеля А. С. Пушкина — известного острошлова и эпиграммиста С. А. Соболевского.

В «Русском архиве» за 1884 год (№ 6) напечатана «Легенда» (стр. 350—351), о которой в оглавлении сказано, что это — стихотворение С. А. Соболевского. Вот эта «Легенда» (одна из строф ее почти совпадает с мнимо-пушкинским эпиграфом):

Везомый парой, а не паром,
Москву изездил Годендорф
И доказал князьям, боярам,
Что есть и уголь, есть и торф;

Что после долгих умозренний
Открыли в сале стеарин;
Что на Руси есть дивный гений,
И этот гений граф Канкрин.

Поверила Москва-столица,
Церквей где сорок-сороков,
И эти сорок — единица
К числу наличных дураков.

Но эти выдумки-злодейки,
На зло восторженных речей,
Всех разорили до копейки
Индустриальных москвичей.

И се — их прояснились очи!
Теперь уж их не проведешь:
Они зубами, из всей мочи,
Схватились за последний грош.

Однако, вопреки науки
И всех законов естества,
В бароне важные две штуки
Ценит ученая Москва.

— Есть в мире вечное движенье!
На опыте задачи той
Им представляет разрешенье
Язык неугомонный твой!

— Есть в мире абсолютный вакуум,
В твоей, барон, он голове:
Многоглаголивый Аввакум,
Пророк фабричности в Москве!

В примечании к заглавию сообщается, что это стихотворение «писано по поводу первой Московской Промышленной выставки, устроенной министром финансов графом Канкриным». Подписано: П. Бартенев.

Вслед за стихотворением «Легенда» следует стихотворение «Про него же».

Ханыков был в Бухаре,
А Любимов был в Пекине.
Уверяют, что до ныне
Ни в долу, ни на горе

Ни в пустынях Туркестана
Не встречали шарлатана,
Как вчерашний наш барон,
Многовральный пустозвон.

Фамилией С. А. Соболевского эти же стихи, озаглавленные «На б. А. К. М.», подписаны в «Русском архиве» за 1884 год (№ 1, стр. 242). Они направлены против известного педагога, организатора промышленных выставок, автора целого ряда трудов экономико-торгового характера барона Александра Казимировича Мейендорфа. Канкрин умер в 1845 году. Следовательно, эпиграф и третья строфа «Легенды» («Поверила Москва-столица. . .») написаны почти одновременно. Возникает предположение, не принадлежит ли и все стихотворение «Urbi (Граду)» перу С. А. Соболевского.

⁸ См.: Словарь языка Пушкина, т. II. М., 1957, стр. 704.